

«В чем был смысл этого
театра абсурда?»
Собрания по проработке
в позднем СССР

Светлана Стивенсон

Светлана Стивенсон. Школа социальных наук, Лондонский столичный университет (LMU), Лондон, Великобритания, s.stephenson@londonmet.ac.uk.

В последние годы мы наблюдаем возрождение практики публичного клеймения — процесса, при котором члены общества выражают моральное негодование по поводу взглядов или поведения того или иного индивида или группы. Особенно распространено такое клеймение в соцсетях, но оно может принимать и другие формы (заседания ученых советов и комиссий по этике, так называемая культура отмены и так далее). Раскол публики на противостоящие друг другу группы, ярость предъявляемых обвинений, тяжелые последствия клеймения для социального статуса, репутации человека, часто обнаруживаемая заинтересованность государства и тех или иных институций в развязывании или использовании клеймения — все это делает его важным феноменом современной общественной жизни. Статья Стивенсон анализирует практику проработки, ритуала публичного клеймения, который проходил по месту учебы и работы граждан в Советском Союзе. Статья утверждает, что эти ритуалы были посвящены не моральному совершенствованию и перевоспитанию граждан коллективом (как это представлялось в официальном дискурсе), а являлись репрессивными практиками, которые вели к социальной деградации жертв клеймения. Она показывает, что, помимо официального сценария, у собраний был дополнительный сценарий, который возбуждал у присутствующих отрицательные эмоции и аффекты и при этом порождал чувство вины и страха.

Ключевые слова: *неформальное право; публичное клеймение; гражданское правосудие; повседневная жизнь в Советском Союзе.*

В ПОСЛЕДНИЕ годы мы наблюдаем возрождение практики публичного клеймения — процесса, при котором члены общества выражают моральное негодование по поводу взглядов или поведения того или иного индивида или группы. Особенно распространено такое клеймение в соцсетях, но оно может принимать и другие формы (заседания ученых советов и комиссий по этике, так называемая культура отмены и так далее). Раскол публики на противостоящие друг другу группы, ярость предъявляемых обвинений, тяжелые последствия клеймения для социального статуса, репутации человека, часто обнаруживаемая заинтересованность государства и тех или иных институций в развязывании или использовании клеймения — все это делает его важным феноменом современной общественной жизни.

У многих, кто помнит Советский Союз, нынешние процессы вызывают крайне неприятные ассоциации с советскими формами публичного клеймения. Таковыми были собрания по «проработке», товарищеские суды, клеймение нарушителей порядка членами «народных дружин», уличные стенды с портретами и фотографиями алкоголиков и туенядцев, а в более отдаленном прошлом — сталинские собрания, на которых громили вейсманистов-морганистов, буржуазных космополитов, отклоняющихся от партийной линии языковедов, а также прочих врагов и отщепенцев. И насколько прогрессивными ни были бы намерения сторонников так называемой новой этики, стремящихся внедрить новые нормы морали через общественное осуждение тех, кто был уличен в харассменте или высказывал гомофобные взгляды, им по-видимому, еще долго будут вменять следование советским традициям повседневного коллективного насилия.

Публичное клеймение существовало в человеческом обществе на всем протяжении его истории. При всем разнообразии историко-культурных форм клеймения (от вымазывания преступников в смолу и перьях, привязывания их к позорному столбу до судов Линча и сталинских показательных процессов) оно всегда предполагает противопоставление индивида морально сплоченной группе.

Как создается эта — реальная или видимая — сплоченность? Что происходит в процессе клеймения? Богатый советский опыт таких практик представляет собой уникальный источник для понимания механизмов публичного клеймения, поведения участников, их мотиваций, психо-

эмоциональных процессов, которые задействованы в клеймении, а также последствий для социальной идентичности и репутации жертв.

В настоящей статье я обращаюсь к одному из видов клеймения, а именно практике проработки на собраниях¹. Эта практика появилась вскоре после Октябрьской революции² и закончилась с концом советского режима. Подобные практики существовали и в других социалистических странах³.

Проработка осуществлялась на собраниях пионерских, комсомольских, партийных и профсоюзных организаций, общих собраниях класса, школы, курса, цеха. Клеймение также происходило на школьных педсоветах, партийных и комсомольских бюро организаций и на прочих собраниях, в которых, помимо осуждаемых, участвовали представители партийно-комсомольского актива или администрации учреждения.

Объектами проработки были, как правило, люди, нарушившие те или иные нормы социалистической морали. Понятие социалистической морали было расплывчатым и интуитивно понимаемым (хотя партия и предприняла попытку кодифицировать его в «Моральном кодексе строителя коммунизма», принятом в 1961 году). Под нарушение социалистической морали подпадали идеологические девиации, нарушения трудовой дисциплины, моральная и бытовая распушенность. К последним относились «беспорядочные» половые связи, нецензурная брань или появление в нетрезвом виде в общественных местах и прочие прегрешения, совершаемые в частной жизни. Люди, подававшие документы на отъезд в Израиль, также должны были пройти через коллективную проработку. Информационная записка Министерства внутренних дел Центральному комитету КПСС от 26 февраля 1973 года обязывала трудовые коллективы ор-

1. Такие собрания могли также именоваться проработкой, персональным делом, а в сталинские годы судом чести.

2. *Fitzpatrick S.* *Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s.* N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1999; *Halfin I.* *Intimate Enemies: Demonizing the Bolshevik Opposition, 1918–1928.* Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2007.

3. *Dittmer L.* *The Structural Evolution of Criticism and Self-criticism*// *China Quarterly.* 1973. № 56. P. 708–729; *Flam H.* *Mosaic of Fear: Poland and East Germany before 1989.* Boulder, CO: East European Monographs, 1998.

ганизовать предварительное обсуждение характеристик таких лиц⁴.

Решение собрания вело к дисциплинарным последствиям разной степени тяжести. Это мог быть выговор (устный или с занесением в личное дело), понижение в должности, перевод в другой класс, исключение из пионерской, комсомольской или партийной организации, увольнение с работы или отчисление из учебного заведения. Для молодых людей призывного возраста последствием отчисления из вуза обычно была служба в армии. В редких случаях, когда коллектив отказывался следовать сценарию, последствий либо не наступало, либо они были менее серьезными (например, выговор вместо понижения в должности или увольнения). В некоторых случаях, когда клеймению подвергался поступок, который мог быть уголовно наказуемым, за осуждением на собрании могло последовать уголовное преследование (что было повседневным явлением в сталинское время, но могло происходить, хотя гораздо реже, и в последующие периоды).

В чем был смысл советских ритуалов клеймения? По мнению Олега Хархордина, эти ритуалы утверждали власть коллектива как проводника советских ценностей и как центрального агента в системе горизонтального надзора над индивидами⁵. Официальной целью этих ритуалов было обличение поведения, противоречившего советским моральным и идеологическим нормам, с целью последующего исправления члена коллектива. Ритуалы должны были обеспечить перевоспитание отклоняющегося от нормы индивида, вернуть его на путь самосовершенствования и продвижения к идеалу «советского человека», становясь частью проекта создания советской субъектности. При этом, как отмечали ряд авторов, требования к людям, чья морально-политическая интеграция в систему была особенно важна, таким как члены партии, писатели или работники академической сферы, были наиболее строгими⁶.

Однако, как представляется, клеймение далеко не исчерпывается его официальным содержанием, то есть не сво-

4. *Куксин И.* Брежнев и еврейская эмиграция // Заметки по советской истории. 2007. № 87. URL: <https://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer15/Kuksini.htm>.

5. *Хархордин О.* Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб.: Издательство Европейского университета, 2016.

6. *Cohn E.* The High Title of a Communist: Postwar Party Discipline and the Values of the Soviet Regime. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2003.

дится к воспитанию и исправлению человека силами коллектива. Об этом говорит в частности то, что собрания воспринимались и описывались участниками не как воспитательные мероприятия, а как глубоко травматические события, как театр абсурда, фантазмагория, опрокидывающая привычные представления о людях, их поведении и мотивах. Не только жертвы клеймения, но и присутствующие порой не понимали даже сути происходящего, смысла предъявляемых обвинений. Воспоминания участников собраний говорят о чувстве стыда и вины, не оставлявших их долгое время после события, причем испытывали его не только и не столько обличаемые, сколько свидетели и даже те, кто предъявлял обвинения⁷. Таким образом, на собраниях, помимо официального, явно присутствовал другой, не всегда понятный участникам, но не менее важный сценарий, который порождал жестокость одних, страх и подавленность других. Этот сценарий состоял в том, чтобы сконструировать социальное зло из повседневных поступков людей и мобилизовать сообщество на его осуждение. Ритуал клеймения порождал присвоение повседневному поведению новых символических смыслов, связанных со злонамеренным нарушением морального Закона, и задействовал отрицательные социальные эмоции и аффекты членов группы, организуемые для морального осуждения жертвы. В конечном итоге результатом действия было не образование и воспитание заблудшего члена коллектива, а исключение его из сообщества или снижение его социального статуса. Моральный порядок восстанавливался через коллективное утверждение Закона и подтверждение власти охраняющих его дисциплинарных агентов — руководителей организации, представителей комсомольско-партийного начальства и так далее.

Как утверждал Джеффри Александер, определение и поиск зла не менее важны для общества, чем утверждение добра. Добро и зло находятся в диалектической взаимосвязи, одно не может существовать без другого. Общества проводят границу между добром и злом, сакральным и профанным через ритуалы очищения и наказания. При этом для того, чтобы члены общества всем своим существом почувствовали, в чем состоит и как выглядит зло, ритуалы клеймения побуждают присутствующих к проявлению и переживанию моральных чувств — возмущения, презрения, ярости, отвра-

7. Кон И. С. 80 лет одиночества. М.: Время, 2008; Лихачев Д. Мысли о жизни. Письма о добром. М.: КоЛибри, 2015.

щения. Зло натурализуется, «оно выглядит так, как будто оно исходит из конкретных поступков и идентичностей, а не само приводит к ним культурно и социально»⁸. Публичное клеймение и наказание, скандалы и даже войны — все эти социальные ритуалы и процессы возбуждают моральное негодование, вовлекают людей в реальную или символическую коммуникацию и проводят черту между добром и злом, добропорядочными членами общества и злонамеренными Другими.

Для того чтобы проанализировать происходящее на собраниях конструирование зла и попытаться воссоздать сопутствующие этому чувства и переживания участников, оценить последствия собрания для тех, кто клеймил и кого клеймили, имеющиеся письменные источники (протоколы собраний или отчеты в прессе, как правило, основанные на таких протоколах) не дают полной картины. Протоколы, как правило, подвергались существенному редактированию, и, кроме того, они не дают понимания отношений в коллективе до и после собраний, мотивов участников и так далее. Поэтому интервью с теми, кто присутствовал на советских собраниях (по понятным причинам, это главным образом люди, заставшие собрания в конце 1950-х — 1980-е годы), представляют большую ценность. Хотя анализ воспоминаний содержит ряд проблем, связанных с достоверностью описываемого, эмоциональная память о происшедших травматических событиях (а такими, безусловно, были собрания) обычно бывает весьма сильной. Настоящая статья основывается на таких интервью, проведенных с участниками собраний, проходивших в разных населенных пунктах СССР. В изложении интервью я не называю настоящих имен участников и конкретные места их работы или учебы, но указываю на населенный пункт, где прошло собрание, и примерный год.

Мои респонденты участвовали в позднесоветских собраниях в роли обличителей, свидетелей или жертв. Позади были сталинские времена, с их показательными процессами, партийными чистками, судами чести, идеологическими кампаниями в научных учреждениях и прочими проявлениями тоталитарного государственного контроля. Однако ритуалы клеймения продолжали активно использоваться. Более того, по мере ослабления государственного террора

8. Alexander J. C. *The Meanings of Social Life*. N.Y.: Oxford University Press, 2003. P. 116–117.

и насилия коллективное «правосудие» стало основным механизмом общественного контроля⁹. С конца 1950-х попытки режима стимулировать массовое участие в исправительной политике¹⁰ сделали собрания по проработке, наряду с товарищескими судами и другими формами низового социального контроля, главными исправительными институтами. По мере стагнации советского режима нарастающая рутинизация официальных практик приводила к тому, что участие членов коллективов в исправительных мероприятиях становилось все более формальным и пассивным¹¹. Тем не менее от членов коллективов все равно требовалось символическое подтверждение лояльности советскому моральному порядку и ритуалы клеймения продолжались вплоть до конца 1980-х.

Сценарии клеймения

Собрания были ритуалом народного правосудия, но, как справедливо указал Хархордин¹², их задачей было не исследование обстоятельств дела, а обличение. Присутствующие не ставили перед собой задачу предъявить и тщательно рассмотреть доказательства проступков и выслушать не только обвинителей, но и защитников обличаемого человека. Ему обычно не давали реальной возможности отвечать последовательно на обвинения, часто не показывали никаких документов или свидетельств его вины, а иногда он даже и не подозревал о цели собрания (думая, что был приглашен на какое-то малозначимое совещание или беседу). В таких случаях собрания представляли собой своего рода ловушки. Человек не был подготовлен к тому, что ему придется столкнуться с заранее подготовленным сценарием клеймения. Неожиданность происходящего усугубляла тяжесть ситуации, ставила жертву в пассивное положение, притом что

-
9. *Gabdulhakov R.* Citizen-led Justice in Post-communist Russia: From Comrades's Courts to Dotcomrade Vigilantism//Surveillance and Society. 2018. Vol. 16. № 3. P. 314-331; *Gorlizki Y.* Delegalization in Russia: Soviet Comrades's Courts in Retrospect//The American Journal of Comparative Law. 1998. Vol. 46. № 3. P. 403-425; *LaPierre B.* Hooligans in Khrushchev's Russia: Defining, Policing, and Producing Deviance during the Thaw. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1998.
 10. Хархордин О. Указ. соч.
 11. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
 12. Хархордин О. Указ. соч.

обличители, напротив, могли испытывать эмоциональное возбуждение, подымаясь на волне собственного праведного гнева. В конце собрания жертве иногда давали возможность выступить, но любые попытки оправдания не имели значения, а часто и заглушались возмущенными голосами присутствующих.

Собрания были ритуалом, который должен был эмоционально объединить присутствующих в справедливом гневе против проступка, а в конечном итоге всей личности обличаемого. Фигурант собрания оказывается носителем зла, которое в его лице коллектив должен был покарать. В известной статье «Условия успешных церемоний социального разжалования»¹³ Гарольд Гарфинкель показал, что в таких церемониях обличители стремятся предложить группе мотивационную схему, согласно которой поступок индивида был не просто недопустимым, но имел под собой злой умысел. Набор таких осуждаемых мотиваций является специфическим для конкретного исторического и культурного контекста, и обличитель должен предложить наиболее подходящий. Если группа согласится с тем, что злой умысел имел место, и выразит моральное негодование, ритуал можно считать успешным. Если же члены группы не готовы разделить мотивационную схему, предложенную обличителем, мероприятие не приводит к желанному результату. Результатом успешной церемонии является понижение (по Гарфинкелю — разжалование) социального статуса человека.

Советские собрания по «проработке» действительно проходили по строгим сценарным правилам, которые были призваны выявить злой умысел в действиях «прорабатываемого», а не просто указать на конкретный проступок. Обличители (как правило, секретари местной партийной или комсомольской организации, представители руководства, учителя) предлагали собравшимся осудить члена их коллектива за определенные прегрешения — например, супружескую неверность (обычно это касалось члена партии и следовало за обращением обманутого супруга), отказ выйти на субботник или утрату партийного билета. Но каким бы ни был проступок, главной целью ритуала было разоблачить человека, выявить его «реальную сущность» и показать, что

13. *Garfinkel H. Conditions of Successful Degradation Ceremonies // American Journal of Sociology. 1956. Vol. 61. № 5. P. 420–424.*

«то, кем он предстал сейчас, он в конечном итоге был всегда»¹⁴.

Собрание, как правило, начиналось с обличительной речи представителя руководства организации. Часто организаторы готовились и заранее просили других членов коллектива выступить и дополнить картину другими преступлениями провинившегося. После этого предполагались выступления рядовых участников или реплики с мест.

Сценарий был один и тот же. Вот выступает кто-то с обличением, что вот [Коля Рыжков сделал то-то и то-то]... Коля Рыжков при этом должен был сидеть и слушать это, а потом выйти <...> Иногда это делалось так, что тот, кого обличали, выходил сразу на авансцену, так сказать, стоял впереди, и он должен был слушать эти доклады. Вот после доклада должны были выступить, заранее было оговорено, кто знает о нем вот такие недостатки, а дальше по содержанию было, что он не только в этом виноват, он еще там, скажем, рубашку свою не стирал или он когда-то опаздывал на какие-то мероприятия, обязательно добавлять что-то еще по его личности. И этот сценарий соблюдался постоянно (Арсений, Москва, 1956).

Даже без предварительной подготовки присутствующие интуитивно понимали, что от них требовалось, и некоторые с готовностью включались в ритуал по «разжалованию» источника зла.

Когда мы были пионерами, у нас два парня занимались криминальной деятельностью. Они реально были малолетними преступниками, все знали, что они воруют, и их исключили из пионеров после какого-то очередного, видимо, визита милиции. Это было обставлено как пионерское собрание, и, соответственно, их обсуждали. Нам было лет 11, я еще в то время был пионерским барабанщиком, и меня отозвала в сторону учительница истории и сказала: «А давай мы под дробь сделаем. Мы хотим с них галстуки снять, а ты вот на барабане стучи» — но я отказался, я почувствовал фальшь. И публично с них сняли галстуки с обоих, один плакал при этом, при этом другой не плакал.

14. *Garfinkel H.* Op. cit. P. 422.

А когда было обсуждение, я помню, одна девочка у нас была, она подняла руку и сказала о том, что они еще и собаку обижали (Данила, Москва, 1979).

Обличение было прежде всего репрессивным, а не воспитательным событием (хотя формально жертве могли предложить раскаяться и тем самым воссоединиться с коллективом на новой основе). Собрания проводили символическую черту между группой и нарушителем морального Закона. Даже если собрания проходили относительно спокойно и коллектив не включался активно в сценарий обличения, а отдельные участники даже пытались заступиться за жертву, отсутствие поддержки со стороны большинства, само их участие в ритуале воспринималось жертвой крайне болезненно.

Дополнительный сценарий

Анализ интервью показывает, что, помимо официального сценария, собрания имели дополнительный сценарий. Призывая участников выразить моральное негодование, организаторы тем самым давали им карт-бланш на выражение целого ряда прежде подавляемых репрессивных эмоций. Враждебность, неприязнь, зависть, прежде скрываемые за фасадом вежливого, социально приемлемого поведения, могли безнаказанно выйти наружу. Одноклассники, однокурсники, коллеги приглашались на «праздник» критики, где они могли испытать *jouissance*, «наслаждение» (в терминологии Жака Лакана) от репрессивного подавления другого. Собрания часто превращались в карнавал жестокости, на котором, по мнению Славоя Жижека¹⁵, в отличие от веселого средневекового карнавала, описанного Михаилом Бахтиным, где люди на время освобождаются от авторитета власти, они, напротив, активно включались в угнетение других.

Нина описала собрание в литературном музее в Ленинграде, созданном для разбирательства ее персонального дела после того, как она подала документы на отъезд в Израиль по фиктивному приглашению от некоего израильского дяди. Несмотря на то что все участники собрания (за исключением ее начальника) были хорошими друзьями, относились

15. Žižek S. The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality. L.: Verso, 1994. P. 60.

к собранию как к пустому официозу и после него намеревались отправиться в соседнюю комнату, где уже были накрыты столы для выпивки, коллеги проявили неожиданную враждебность.

Там были неприятные моменты, потому что все-таки там говорили, что я училась на деньги нашей родины. «А к кому ты едешь?» «А кто твой дядя?» «А дядя — он богатый человек?» «На что ты польстилась, на какие деньги?» «А вот мы ей доверяли, она обманула наше доверие». Все слова эти были сказаны. И опять же, они это говорили и как бы мне одновременно подмигивали. Это было сильно неприятно. Но поучительно. Это все были мои сотрудники и в том числе люди, с которыми я после проработки пошла выпивать и закусывать, потому что как бы все понимали, что это такая проформа (Нина, Ленинград, 1971).

Общее понимание абсурдности происходящего («подмигивали») не отменяет того факта, что люди выступали с осуждением, проявляли недоброжелательность и, возможно, зависть, ранив женщину, прежде уверенную в том, что она имела дело с друзьями и коллегами, которым можно доверять.

Часто враждебность проявлялась по отношению к людям, занимавшим привилегированное положение в организации, являясь, как представляется, проявлением описанного Ницше ресентимента¹⁶, при котором люди испытывают нетерпимость и зависть к тем, кто, по их мнению, более успешен, обладает большей властью или ресурсами, чем они сами. Ученые выступали против видных фигур в своей области, студенты избобличали комсомольских или партийных активистов.

Ольга рассказала о случае, когда клеймению подвергся ее однокурсник по МГУ, который одновременно встречался с молодой женщиной и ее матерью. Дочь написала жалобу в университет. По словам Ольги, студенты особенно яростно нападали на этого молодого человека, поскольку он был членом партии.

16. Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990; см. также: Он же. По ту сторону добра и зла // Соч.: В 2 т. Т. 2.

Мы были уже продвинуты, слушали музыку, обсуждали политику на кухнях. Поэтому предвзятое отношение было к партийным товарищам. Потом они обычно были старостами на курсах. Когда нас вывозили на картошку, они были бригадирами, следили за дисциплиной, запрещали курить. Определенное отношение типа злорадства было (Ольга, Москва, 1979).

Лариса вспомнила о собрании в 1977 году в московском вузе, созванном после того, как ее однокурсник был задержан милицией при покупке джинсов у иностранцев. Кроме обвинения в фарцовке, студента также обвинили в том, что он украл юбку из гостиничного номера иностранной туристки. На собрании комсомольцы проголосовали за исключение его из ВЛКСМ, что автоматически означало отчисление из вуза. То, что студент, по слухам, был родственником высокопоставленного лица, сыграло в этой истории не последнюю роль.

У нас все время говорили о том, что он племянник кандидата в члены Политбюро Александрова, и кто-то тогда сказал, вот когда обсуждали, исключить ли его из комсомола и института, кто-то сказал: «Да господи, он через год восстановится и будет работать в таких местах, куда нам никому хода нет». То есть это исключение не страшное, посидит, отдохнет, потом восстановится. Я была возмущена фактом кражи и того, что он опозорил советский народ. Факт кражи у гостя, что человек приехал иностранный. Не было никакой жалости, нет-нет-нет. Во-первых, я думала, что это нехорошо красть, а во-вторых, как-то вот общее мнение было, что он будет работать там, куда нам хода нет. Может быть, конечно, фамилия такая распространенная, может, ему просто про дядю приписали. Это же элемент классовой ненависти, что вот с таким дядей — и юбки ворует. Даже не только у меня, вот у тех, кто говорил, что «ну господи, он через год восстановится, и вы еще будете с поклонниками в его кабинет ходить» (Лариса, Москва, 1977).

Соне было 18 лет, когда она поступила на работу в турбюро в Краматорске. Ее подруга имела связи в местном райкоме комсомола и договорилась о том, что они с Соней присоединятся к комсомольской делегации, отправлявшейся в Бол-

гарию. Все, что им надо было сделать, — это пройти медкомиссию и собеседование в горкоме комсомола и получить положительную характеристику с места работы для поездки. Неожиданно последнее оказалось невозможным.

Было собрано собрание, с составом из более старших людей, работающих там экскурсоводами, методистами, бухгалтерами и так далее. Они устроили нам настоящий разгром, причем одно из самых сильных обвинений было то, что мы (это потом было в письменном виде в характеристике написано) бегали по вагонам, когда ехали в Волгоград с экскурсионной группой, в трико. Что они подразумевали под трико — я не знаю. У нас были просто то, что сейчас называется леггинсы. Это было зимой, в поезде было холодно. И вот этого было достаточно, чтобы считать, что мы совершили аморальный поступок и что мы «не созрели». Ну вот это в их глазах было как аморалка. Но еще очень важным поводом было, что «мы в два раза, в три раза старше вас, а мы еще так за границу не ездили». И вот это такой случай, который меня настолько травмировал тогда, что я тут же уволилась с этой работы. Думаю, мы были две девочки, остальные были взрослые дамы и мужчины, пожилые мужчины, и они говорили с огромным энтузиазмом, как передать это чувство, вот нам не дают, и вы не поедете, прямым текстом. Мы в три раза старше вас, а вы только что пришли на работу, вы же не заслужили. Но самое главное, что мне кажется, это вот нет, не дать возможность кому-то, если ты этого сам не можешь (Соня, Краматорск, 1974).

Помимо индивидуальных атак, одни группы в коллективе сводили счеты с другими, а академические кланы могли пытаться подорвать позиции своих идейных или карьерных противников. Наиболее известными историческими примерами, конечно же, были сталинские собрания в научных учреждениях¹⁷, но подобные собрания проводились и в послесталинское время (как, например, известное дело социолога Юрия Левады, разбиравшееся на собрании ИКСИ РАН в 1969 году).

17. Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. М.: РОССПЭН, 2008.

Театр абсурда

Многие участники описывали собрания как театр абсурда. Неожиданное возведение малозначимых эпизодов в ранг преступления, язык обличений, использующий официальные идеологические коды вместо повседневной лексики, экзальтированное поведение части окружающих — все это казалось нереальным, фантасмагорическим, абсурдным.

Татьяну, например, прорабатывали за достаточно стандартную в советское время девиацию — непреднамеренную порчу или утрату комсомольского или партийного билета.

Щенок пожевал комсомольский билет. Собрали комсомольское собрание. Обобщили — неправильно хранить, плохое отношение к комсомольскому билету. «Комсомольский билет надо носить на груди». А я им сказала, что у меня нет кармана на груди в школьном платье. У меня не было сильного стресса, это были не сталинские времена. Но я вышла с собрания с ощущением театра абсурда, ведь меня клеймили непонятно за что. Это запомнилось на всю жизнь. Они говорили, что это не просто неаккуратность, а злонамеренность, неожиданно создали из меня врага (Татьяна, Москва, 1983).

Ощущение абсурдности порождалось и риторическими приемами обличителей, используемыми ими языковыми конструкциями. Навязывая участникам языковую игру, при которой происходит перекодировка повседневного поведения в поведение, посягающее на моральную чистоту и святость устоев, обличители обезоруживают присутствующих, заставляя их играть по своим правилам и невольно разделять их пафос. Эта языковая игра также вызывала у жертвы и части присутствующих, эмоционально не вовлеченных в ритуал, ощущение абсурда. Особенно удивительным было неожиданное использование официальных речевых кодов теми, кто сам не показывал до этого особой приверженности советскому строю.

Было комсомольское собрание по поводу одного человека, он был из семьи известных отказников. Они собирались уехать в Израиль. Собрание было довольно формальным, но там был один парень, он был вообще алкоголик, бабник, не какой-то деятель, и я никак не мог ожидать от него никакой идеологизации, никогда не примечал за этим парнем

антисемитизма, нет, ничего подобного. И вот он говорит, что как он мог предать родину. Я был поражен, как этот дискурс глубоко сидит (Михаил, Москва, 1976).

В другом эпизоде бытовое речевое поведение маленьких девочек (использование ими ненормативной лексики) неожиданно переqualифицируется в тяжкое преступление — их обвиняют в том, что они «опозорили честь пионера». Вот как описывает Оксана происшедшее с ней в ее ленинградском детстве. Как-то раз, когда она гуляла во дворе с подружками (им всем было по девять лет), к ним пристали мальчишки из соседней школы. Девочки решили написать им записку и сделали это, употребив матерные выражения. Бабушка одного из мальчиков передала записку в детскую комнату милиции, милиция сообщила в школу, и учителя собрали педсовет.

Я, конечно, помню, дети тоже видят абсурдность всего этого, и страшно, и дико смеяться хочется, потому что ситуация абсолютно абсурдная. Мы стоим, все сидят, и эта тетка из детской комнаты милиции всем раздает напечатанную на машинке бумажку, и я так смотрю через папину спину, и там написано: «пошел ты на хуй блядь» на машинке. Но это полный, конечно, полный бред. Там они нас клеймили, «позорит честь там, тра-ля-ля», но процедура ужасная. Родители не заступались абсолютно, композитор [отец одной из девочек] засмеялся, но молчал потом. А мои родители не заступались, родители очень боялись властей и считали, что мы опозорили семью, была такая вот стена позора и страха, и изоляция вот такая была, просто изоляция. Ты чувствовал, что ты изгой и что вообще непонятно, как тебе обратно войти в нормальную жизнь. В общем, результат ужасный, и потом со мной дома не разговаривали, осуждали, им тоже было трудно, наверное, со всем этим справиться. А потом я помню, что они, значит, присудили всем тройки по поведению, но это мало кого волнует, но и было «опозорили честь пионера». А меня, поскольку моей рукой написано, перевели из моего класса «б» в класс «а». Это было ужасно, это было самое ужасное, потому что была всегда конфронтация между двумя классами, и тебя переводят, и я так сколько-то лет училась в этом параллельном классе (Оксана, Ленинград, 1969).

Проступок (даже если так определить незначительный и в целом анекдотический эпизод) превращается в акт абсолютного зла. Здесь нет места диалогу, разнообразию мнений. Участники должны согласиться с серьезностью происходящего, и тем самым утвердить как нарушенную норму, так и власть тех, кто стоит на ее защите. В этом жестоком театре абсурда смех подавляется страхом, живая жизнь — мертвой резолюцией, взаимопонимание, эмпатия — разобщением и послушанием перед лицом Закона.

Страх перед Законом

В воспоминаниях Оксаны о собрании перемешивается ощущение абсурдности происходящего и парализующий страх, который испытывали не только дети, но и их родители. На собраниях в то время, как одни участники заходились в праведном гневе, другие часто испытывали то, что Жижек определил как «неопределенное кафкианское чувство абстрактной вины, чувство, что в глазах Закона я априори виноват, но не могу знать, в чем конкретно»¹⁸. Согласно этой концепции Жижека, от нас не требуется понимать требования Закона: «Мы подчиняемся непонятным нам заповедям. Этот травматический характер закона, который мы не можем полностью воспринять, является позитивным условием его существования»¹⁹.

В большинстве случаев моральное негодование мобилизовалось вокруг понятных прегрешений. Однако в ряде рассказов описывалось то, как членов коллектива просили осудить провинившихся за поступки, которые толком не описывались и полный смысл которых оставался неясным. При этом присутствующие понимали, что им предлагается к рассмотрению табуированная тема и что лучше, если они не будут задавать никаких вопросов. Степан, например, помнил собрание (ему тогда было 12–13 лет), когда в классе, где он учился, прорабатывали девочку из неблагополучной семьи. Как он узнал уже после собрания, кто-то распространил слух, что она ходила в расположенную рядом военную часть заниматься сексом с солдатами.

18. Zizek S. Op. cit. P. 55.

19. Dean J. Zizek on Law // Law and Critique. 2004. Vol. 15. № 1. P. 13.

И была какая-то буча, у нас был классный час, и ее клеймили, поставили у доски и рассказывали, что она ведет аморальный образ жизни. Я совершенно не понимал, о чем вообще идет речь, чего происходит (Степан, Москва, 1967).

Поступив в вуз, тот же Степан присутствовал на комсомольском собрании, где столь же неясные обвинения предъявлялись одному из студентов.

Потом было в институте сборище. Я тоже ни фига не понял... понял потом. Парень учился очень хорошо, интеллигентный такой, воспитанный мальчик. Курсе на втором. Оказалось, что он гей. Я вообще знать не знал, что есть такие отношения. Ну, может быть, где-то на зоне. Как будто на луне.

И кто-то написал, как-то эта информация выскочила. И было тоже комсомольское собрание, его тоже осуждали, по-моему, исключили из комсомола, из института. Собрание называлось «аморальное поведение». Все было завуалировано. Я только потом понял, в чем дело. Вообще никто не понимал, а кто понимал, тот помалкивал. Как говорится, Дума не место для дискуссии. Это же оттуда все. Есть массовка, и есть люди, которые тебе рассказывают. Это было все ритуально. Ритуальная гражданская казнь (Степан, Москва, 1974).

Хотя сущность морального преступления оставалась для присутствующих не вполне ясной, а конкретные нормы и ценности, которые нарушил человек, были неочевидны, собрания достигали своей цели. Они утверждали саму власть Закона. Удовольствие от возможности покарать другого, возможность дать ход своим негативным эмоциям во имя исполнения гражданского долга или просто приятное чувство, что ты находишься на стороне законопослушного большинства, часто соседствует со страхом, ощущением того, что ты тоже по большому счету виновен. Рассказы участников собраний показывают, что чувство морального негодования соседствовало с определенным удовольствием от прикосновения к сфере запретного и при этом сочеталось со смутным чувством собственной имманентной виновности в глазах власти. Ольга, рассказывая о собрании, на котором студента клеймили за связь с двумя женщинами, описывала, как присутствующие демонстрировали неприкрытый интерес к тайным подробностям чужой част-

ной жизни, но при этом испытывали определенное чувство дискомфорта, опасаясь, что и они сами могли потенциально стать жертвами подобных разбирательств.

У многих было неприятное ощущение. С одной стороны, хиханьки-хаханьки — это было длинное собрание, обсуждали детали, что он чувствовал, как умудрялся совмещать двух женщин, раскаивается ли. Но, в то же время, мы были недовольны ситуацией, что такие вещи обсуждаются публично, <...> мы были свободными людьми и не хотели, чтобы обсуждались какие-то обстоятельства из нашей личной жизни (Ольга, Москва, 1979).

В своих мемуарах Игорь Кон писал о том, что страх был одним из главных чувств, которые испытывали участники советских собраний по проработке. «От такого опыта трудно оправиться. Когда бьют тебя самого, возникает, по крайней мере, психологическое противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь прежде всего собственную незащищенность, страх, что это может случиться и с тобой. Чтобы отгородиться от этого страха, человек заставляет себя верить, что, может быть, „эти люди“ все-таки в чем-то виноваты, а ты не такой и с тобой этого не произойдет»²⁰.

Хотя то, что описывал Кон, относилось к сталинскому периоду, участники позднейших собраний также вспоминали об испытываемом страхе. Степан рассказал о собрании в его московской школе в 1973 году, на котором разбирали поведение девочки, осквернившей священный символ — портрет Владимира Ленина.

Лет 13 мне было. Поводом было, что эта девочка тряпкой, которой только что мыла пол, протерла портрет Владимира Ильича. И какая-то дама из педсостава это увидела и сделала из этого некое шоу, нас собрали, всем рассказали, как это ужасно, как это вообще, вот она такая-сякая, совершила такое святотатство. Было ощущение, что какой-то ужас, страх, я его помню, вот эта атмосфера противного липкого страха, она как-то осталась в памяти. Все думали об одном: хорошо, что это не я (Степан, Москва, 1973).

20. Кон И. Указ. соч. С. 14.

Иногда обличители были втайне повинны в тех же самых преступлениях и сами пребывали в страхе разоблачения. Полина, жившая в конце 1980-х в городе Искитим Новосибирской области, рассказывала, как ее друг подвергся клеймению на собрании, созванном для того, чтобы обсудить его заявление о приеме в партию. Главный обличитель, секретарь партбюро, сообщила присутствующим, что его нельзя принимать в партию, так как он был разведен. Однако ходили слухи, что она сама была в разводе. Пытаясь скрыть это обстоятельство, которое угрожало ее партийной карьере, она держала мужские тапочки и пальто в прихожей своей квартиры.

Страх, который мешал присутствующим на собраниях заступиться за своего друга или коллегу, часто сопровождался стойким чувством вины. Евгений так рассказывал о собрании по проработке, на котором он присутствовал.

Это было в начале 80-х годов, и я работал в Казанской консерватории. У нас было собрание коллектива по поводу одного музыканта, которого милиция задержала подвыпившего около вокзала. Собрали собрание, чтобы его осудить. Я просто молчал, но многие люди выступали. Некоторые, чтобы поддержать начальство (ведь все протоколы собрания уже были подготовлены), некоторые действительно считали, что он позорит честь консерватории. Мне потом было очень стыдно (Евгений, Казань, 1986).

Обличители также могли впоследствии испытывать чувство вины. Лариса стала размышлять о своем поведении на собрании через много лет после него и задумалась о том, не была ли история с юбкой фабрикацией милиции.

Мне пришла в голову мысль, что, может, там все было совсем по-другому, а может, это было прикрытием, я не знаю, что там, но тогда я все на голубом глазу. Я помню его реакцию, что он от меня как от назойливой мухи отмахивался и говорил, да далась тебе эта юбка (Лариса, Москва, 1977).

Ужас, испытываемый перед Законом, его малопонятными требованиями и его представителями — облеченными дисциплинарной властью членами организации, — оказывается одним из важнейших переживаний человеческой жизни. Вот как Денис, житель Запорожья, описывает эпизод (который, как и в случае с Ириной, мог бы считаться анек-

дотическим, если бы не чудовищный пафос ситуации), при котором школьник совершил осквернение памятника «национальной святыни», Тараса Шевченко.

Построили, объявили всей школе в мрачных тонах, учителя зашли с мрачными лицами к нам в классы и сказали: у нас тут внеочередная линейка, всем построиться, выйти из школы. Никто не в курсе, пришла директор, я еще фамилию этого мальчика до сих пор помню, потому что это важное событие в моей жизни, сказала ему выйти из строя, встать перед строем школы, а он еще самый маленький в классе был, такой безобидный. Хулиганистый пацан, но ничего особенно плохого он не делал. Мы все: «Что случилось, сенсация, что ж он такое натворил?» Пробыло, потому что экстренное собрание всей школы, и начали его там рвать, сначала директор, потом завуч, «негодяй, подлец», в таких выражениях. Мы ж такие: «Что он натворил?», потому что его ругали как минимум за что-то уголовное. Ну оказывается, у нас просто во дворе школы стоит памятник Шевченко, он до сих пор там стоит, я так думаю, постамент метра полтора и памятник метра два. И был в марте последний снег, и он залез и сделал ему кепку из снега и глаза снегом залепил. И выгнали его. Ну насколько я знаю, он пошел в другую школу в нашем же районе (Денис, Запорожье, 1987).

Сила испытываемых или демонстрируемых чувств негодования или, наоборот, страха, зависела от морального климата эпохи. Общей чертой рассказов были размышления о конкретном периоде советской истории, в который проходили собрания, и о влиянии этого исторического контекста на последствия как для жертвы, так и для тех, кто пытался ее защитить. Частым рефреном в интервью было «это уже были не сталинские времена».

Люди были разные и чувствовали по-разному, это был 71-й год, а не 50-й. Вот у папы было собрание, и через четыре дня его исключили, арестовали, да я же знала, что со мной так не будет. Папа рассказывал, как он произнес прощальную речь, как это было грозно, что люди говорили, и пахло расстрелом и погромом действительно. То, что было со мной, — это «живой картины список бледный», это инерция умирающей системы, умирающий

совок, обезумевший. Ощущения отвратительные у меня были, очень неприятно, но я могла что-то сказать. И я сказала, что я могу поблагодарить всех собравшихся за прекрасный спектакль, который они показали (Нина, Ленинград, 1971).

Многие позднесоветские собрания были чисто формальными, и участники пассивно голосовали за резолюции, предложенные начальством. Тем не менее как бы цинично ни относились к происходящему члены советских коллективов, они все равно приходили на собрания, соглашались с их резолюциями и тем самым подтверждали власть политико-административных структур, стоящих за этими ритуалами. И для рядовых участников, и тем более для жертв обличения, собрания оставляли за собой, как правило, тяжелую память, память о жестокости, унижении, страхе или трусости, а не воспоминания о торжестве коллективной справедливости. Собрания утверждали советский социальный порядок, но при этом вели к психологическим травмам, разобщению, а дидактическим смыслом их было не воспитание и образование членов коллектива, а необходимость подчиниться институциональной и групповой власти.

Заключение

Собрания по проработке при всей их кажущейся повседневности были ритуалами социального исключения и деградации. Они предполагали выявление в поступках человека злого умысла, направленного против общественных моральных устоев. Клеймение «обнажало» порочные смыслы поведения прежде знакомого члена коллектива, превращая его в Другого, чужого.

Собрания проводили моральную черту между добром и злом, призывая участников высказывать негативные суждения не только об определенном поведении, но и о личности человека. В отличие от формального правосудия эти церемонии низового социального контроля покоились на интуитивно понимаемых интерпретационных схемах. «Подсудимым» в этих церемониях не предоставлялось никакой реальной защиты (хотя некоторые из присутствующих и могли пытаться за них заступиться), в то время как участникам предлагалось испытать радость от возможности осудить и покарать. Они давали ход прежде подавляемым эмоциям, зависти и resentimentу, а также страху, стыду и чувству вины. Собра-

ния вместо того, чтобы восстанавливать нарушенные социальные связи, подрывали их. Но тем не менее они достигали своей цели, утверждая власть социального порядка — даже если его основания оказывались непроясненными и ценностное согласие по поводу значения девиантного поступка не было достигнуто. Как сказала Нина, чья история обсуждалась выше: «Двойной целью проработки было заклеить человека, раздавить его совершенно и в то же время повязать всех этим коллективным действием».

Собрания, риторически конструируя безусловное зло из обыденных или легко объяснимых в повседневной практике поступков, выводило участников из области повседневного в область метафизического, фантазмагорического, сакрального. В процессе собраний утверждалась власть Закона, со всей его безраздельной, непроясненной и карательной мощью. На собрании происходило не что иное, как конструирование зла, которое и подвергалось обличению. И эта процедура, столь радикально менявшая представления о человеке, нарушившем моральную норму, и требовавшая от участников присоединиться к ритуалу обличения, оказаться проводниками морального Закона, оказывала мощное психоэмоциональное воздействие и на участников, и на жертву осуждения.

На фоне сталинских коллективных ритуалов клеймения позднесоветские и особенно брежневские собрания часто воспринимаются некоей бледной копией. Однако представление о том, что это были более или менее пустые ритуалы, наполненные унылым конформизмом и не заряженные социальной и эмоциональной энергией обличения, не соответствуют действительности. Хотя к брежневскому времени ритуалы клеймения и стали определенной рутинной, это не означает, что собрания утратили свой травматичный характер.

Социальное клеймение развязывает процессы, при которых, с одной стороны, происходит подтверждение нарушенных моральных норм, а с другой, на поверхность вырываются прежде подавляемые чувства зависти, злорадства, наслаждения властью (пусть и сиюминутной) над другим человеком. Эти атрибуты социального клеймения, похоже, присутствуют и в современном обществе. Особенно это заметно в социальных сетях. Как показал Гусейнов, разбирая кейс, когда он сам подвергся шельмованию: участники демонстрируют речевое насилие, в котором, при всем буйстве ненависти от сексуальной до этнической, присутствует парадоксальный нормати-

визм²¹. Вражда и ненависть, развязываемые во имя наказания зла и защиты морального порядка, — все это, несмотря на разницу в контексте, столь же характерно как для советских собраний, так и для клеймения в наши дни. И хотя сейчас клеймение часто проходит без участия государства (хотя оно может попытаться воспользоваться моральным конфликтом), многие другие атрибуты клеймения сходны и, по-видимому, универсальны для человеческих сообществ.

Библиография

- Гусейнов Г. Об одном невольном эксперименте в русской политической риторике XXI века // Неприкосновенный запас. 2020. № 4. С. 109–129.
- Кон И. С. 80 лет одиночества. М.: Время, 2008.
- Куксин И. Брежнев и еврейская эмиграция // Заметки по советской истории. 2007. № 87. URL: <https://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer15/Kuksin1.htm>.
- Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. М.: РОССПЭН, 2008.
- Лихачев Д. Мысли о жизни. Письма о добром. М.: Колибри, 2015.
- Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
- Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб.: Издательство Европейского университета, 2016.
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- Alexander J. C. The Meanings of Social Life. N.Y.: Oxford University Press, 2003.
- Cohn E. The High Title of a Communist: Postwar Party Discipline and the Values of the Soviet Regime. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2003.
- Dean J. Zizek on Law // Law and Critique. 2004. Vol. 15. № 1. P. 1–24.
- Dittmer L. The Structural Evolution of Criticism and Self-criticism // China Quarterly. 1973. № 56. P. 708–729.
- Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Flam H. Mosaic of Fear: Poland and East Germany before 1989. Boulder, CO: East European Monographs, 1998.
- Gabdulhakov R. Citizen-led Justice in Post-communist Russia: From Comrades' Courts to Dotcomrade Vigilantism // Surveillance and Society. 2018. Vol. 16. № 3. P. 314–331.
- Garfinkel H. Conditions of Successful Degradation Ceremonies // American Journal of Sociology. 1956. Vol. 61. № 5. P. 420–424.
- Gorlizki Y. Delegalization in Russia: Soviet Comrades' Courts in Retrospect // The American Journal of Comparative Law. 1998. Vol. 46. № 3. P. 403–425.
- Halfin I. Intimate Enemies: Demonizing the Bolshevik Opposition, 1918–1928. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2007.
- LaPierre B. Hooligans in Khrushchev's Russia: Defining, Policing, and Producing Deviance during the Thaw. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1998.
- Žižek S. The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality. L.: Verso, 1994.

21. Гусейнов Г. Об одном невольном эксперименте в русской политической риторике XXI века // Неприкосновенный запас. 2020. № 4. С. 109–129.

“What Was the Meaning of This Theatre of Absurdity” Public Shaming Meetings in the Late USSR

Svetlana Stephenson. School of Social Sciences, London Metropolitan University (LMU), s.stephenson@londonmet.ac.uk.

In recent years, we have seen a resurgence in the practice of public branding, a process in which members of a society express moral indignation at the views or behavior of an individual or a group. This stigmatization is especially common on social media, but it can also take other forms (meetings of Academic Councils and ethics commissions, the so-called cancel culture, and so on). The splitting of the public into opposing groups, the fury of the accusations, the severe consequences of stigmatization for social status, the reputation of a person, the often revealed interest of the state and certain institutions in unleashing or using stigmatization—all this makes it an important phenomenon of modern public life. Stephenson's article examines the practice of *prorabotka*, a ritual of public shaming that took place in schools, universities and workplaces in the Soviet Union. It argues that rather than being events dedicated to moral improvement and re-education of individuals by the collectives (as they were seen in the official discourse), these were repressive rituals that led to social degradation of the victims of shaming. It shows that in addition to an official script, the meetings had a supplementary script that unleashed negative moral emotions and affects but also generated guilt and fear.

Keywords: *informal law; public shaming; citizens' justice; everyday life in the Soviet Union.*

DOI: 10.58186/2782-3660-2022-2-5-15-40

References

- Alexander J.C. *The Meanings of Social Life*, New York, Oxford University Press, 2003.
- Cohn E. *The High Title of a Communist: Postwar Party Discipline and the Values of the Soviet Regime*, DeKalb, IL, Northern Illinois University Press, 2003.
- Dean J. Zizek on Law. *Law and Critique*, 2004, vol. 15, no. 1, pp. 1–24.
- Dittmer L. The Structural Evolution of Criticism and Self-criticism. *China Quarterly*, 1973, no. 56, pp. 708–729.
- Fitzpatrick S. *Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s*, New York, Oxford, Oxford University Press, 1999.
- Flam H. *Mosaic of Fear: Poland and East Germany before 1989*, Boulder, CO, East European Monographs, 1998.
- Gabdulhakov R. Citizen-led Justice in Post-communist Russia: From Comrades's Courts to Dotcomrade Vigilantism. *Surveillance and Society*, 2018, vol. 16, no. 3, pp. 314–331.
- Garfinkel H. Conditions of Successful Degradation Ceremonies. *American Journal of Sociology*, 1956, vol. 61, no. 5, pp. 420–424.
- Gorlizki Y. Delegalization in Russia: Soviet Comrades's Courts in Retrospect. *The American Journal of Comparative Law*, 1998, vol. 46, no. 3, pp. 403–425.
- Guseynov G. Ob odnom nevol'nom eksperimente v russkoi politicheskoi ritorike XXI veka [On an Involuntary Experiment in 21st-Century Russian Political Rhetoric]. *Neprikosnovennyi zapas* [Reserve Stock: Debates on Politics and Culture], 2020, no. 4, pp. 109–129.
- Halfin I. *Intimate Enemies: Demonizing the Bolshevik Opposition, 1918–1928*, Pittsburgh, PA, University of Pittsburgh Press, 2007.

- Kharkhordin O. *Oblichat' i litsemerit'. Genealogiya rossiiskoi lichnosti* [Denouncing and Hypocrisy: the Genealogy of the Russian Personality], Saint Petersburg, EUSPb, 2016.
- Kon I. S. *80 let odinochestva* [80 Years of Solitude], Moscow, Vremya, 2008.
- Kuksin I. Brezhnev i evreiskaya emigratsiya [Brezhnev and Jewish Emigration]. *Zametki po sovetской istorii* [Notes on Soviet History], 2007, no. 87. URL: <http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer15/Kuksin1.htm>.
- LaPierre B. *Hooligans in Khrushchev's Russia: Defining, Policing, and Producing Deviance during the Thaw*, Madison, WI, University of Wisconsin Press, 1998.
- Leibovich O. V gorode M. Ocherki sotsial'noi povsednevnosti sovetской provin-tsii [In 'M' City. Essays on the Social Everyday Life of the Soviet Province], Moscow, ROSSPEN, 2008.
- Likhachev D. *Mysli o zhizni. Pis'ma o dobrom* [Thoughts About Life. Letters about the Good], Moscow, KoLibri, 2015.
- Nietzsche F. K genealogii morali [Zur Genealogie der Moral]. *Soch.: v 2 t.* [Works: In 2 vols], Moscow, Mysl', 1990, vol. 2.
- Nietzsche F. Po tu storonu dobra i zla [Jenseits von Gut und Böse]. *Soch.: v 2 t.* [Works: In 2 vols], Moscow, Mysl', 1990, vol. 2.
- Yurchak A. *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos'. Poslednee sovetское pokolenie* [Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation], Moscow, New Literary Observer, 2020.
- Žižek S. *The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality*, London, Verso, 1994.